

От Издательства

Книга «Мир Тропы» представляет собой сборник, рассказывающий об источниках, с которых в 1991 году начиналась работа по изучению и возрождению одной из народных традиций, именовавшей себя мазыками или потомками офеней.

Основой для сборника послужили личные этнографические сборы А. Андреева, а также его попытки осмыслить собранные им во время его этнографических поездок материалы.

Андреев (Шевцов) сам прекрасно осознавал ненаучность своей первой книги, но она явилась для него поводом для проведения полноценных научных исследований приведенного материала. В третьем издании, помимо первоначальных записей, мы приводим главы из его книг, в которых он рассказывает о тех людях, которые были источниками знаний, обозначенных в исходных очерках. По этим главам вы сможете судить о том, как развивалось исследование мазыкской культуры.

Мазыки или офени — бывшие коробейники, жили как замкнутая группа населения, своего рода профессиональное сообщество с очень высоким чувством выделенности из окружающего крестьянского мира. По уровню самоосознавания это сообщество во времена его расцвета приближалось к малым этническим и вероисповедальным сообществам. У них имелся свой (тайный) язык и определенная ритуалика, которая не успела сложиться в нечто цельное, как не развилось и внутреннее самоуправление. Последняя треть прошлого века с ее интенсивным развитием крупного капиталистического производства была роковой для офеней. Сообщество коробейников, до этого торговавшее вразнос от Сибири до Кавказа и Берлина, медленно умирает, не оставив после себя заметного следа.

Причины отмирания института офенства хорошо изучены наукой и не рассматриваются в этой книге. Гораздо интереснее то, что внутри этой субкультуры хранились некоторые архаичные явления, которые, хотя и, безусловно, несут оттенок народного мистицизма, тем не менее, со всей определенностью могут быть названы «наивной психологией», так как имеют черты системы знаний о душевном устройстве человека.

МИР ТРОПЫ

Мир! Что такое мир? Сейчас стало модно использовать это слово. Целые полки книг с надзаголовком «Миры такого-то». Это уже привычно и это манит. Значит, в этом понятии есть сила, оно магично. Но что такое Мир?

Мир — это пространство, в котором можно жить. Жить телесно или духовно. Если пространство предоставляет все необходимое, чтобы жизнь не погибла — это уже мир, даже если это всего лишь камера или палата. Но если оно дает пищу охоте — так в старину называлось желание, — то это уже желанный мир! Потому что охота, охота жить — это и есть то желание нашего духа, которое приводит его в мир.

Наш народ называл Миром и Покой, и Место жизни, Землю, и Общину. Русские жили миром. В сущности, говоря о Мире, мы говорим об определенной культуре, если использовать это современное слово, ставшее более привычным и понятным, чем Мир.

Правда, родившееся в итоге этих усилий общественное движение Тропа Троянова умерло уже несколько лет тому назад вместе с олицетворявшим его Обществом русской народной культуры. Обидно. Но, к нашей гордости, в итоге мы потеряли только поверхностное и наносное, пену, скрывавшую настоящее. А настоящим было изучение народного быта и сохранение того, что может быть полезно и ценно для современного русского человека.

А это — ремесла, обычаи, народная психология, русская школа предпринимательства, Наука думать, в конце концов...

Тропа не состоялась как попытка возродить некую культуру, которая исторически отжила свое время. Но это не значит, что эта попытка не была красивой и полезной. Мы не хотим потерять того, чтобы было в ней ценного, и потому переиздаем все материалы о культуре мазыков или офеней, как называли

себя те люди, у которых я вел свои первые этнографические сборы.

Эти сборы не были мною оформлены по жестким научным требованиям. Не было у меня такой возможности, да я и не умел этого тогда, в самом начале. Впоследствии было много сборов, где мы очень этнографичны, и эти сборы подтверждают многое, из рассказанного в этой книге. Мы их вели-то, чтобы снять сомнения в подлинности приведенных здесь свидетельств.

Материалы эти доступны через наши издательства и Училища. И в них есть и совершенно волшебные съемки, к примеру, того же перепекания, которое до сих пор бытует в некоторых уголках России. Есть и отчеты о поездках по деревням, где до сих пор говорят на офеньском языке...

А есть и вполне научные работы, написанные мною, чтобы понять русскую народную психологию, где я не рассказываю об учивших меня мазыках, а сравниваю их Психологию с Психологией академической. И показываю и отличия, и выигрышные стороны.

Если вам покажется, что эта книга легковесна, не судите слишком строго, это не более, чем мои записки о поездках по любопытным местам России. Если вам нужна научность, берите те книги, за которые я отвечаю по научным критериям. Эта книга написана давно и была для меня самой первой попыткой осмыслить то, что мне открылось. Порой мне казалось, что я захлебываюсь от переполнявших меня переживаний, наверняка, это отразилось и в том, как я писал...

И все же, это попытка понять себя и культуру моего народа.

Но что такое народная культурная ? Очень сложное и трудно определяемое понятие. Границы его всегда размыты. Осознание себя как некоей субкультуры ограничивается достаточностью для крестьянской жизни, иными словами, его просто может и не быть. Иллюстрация этого элемента русской народной психологии дается Д. К. Зелениным в статье о русских народных присловьях: «Изучая великорусские присловья-прозвища, мы, прежде всего, убеждаемся, что они даются н о в ы м п е р е с е л е н ц а м в известную местность со стороны прежних, старых жителей данной области.

Появление в таких случаях прозвищ-присловий психологически вполне понятно. Нужно же как-нибудь называть новых соседей, необходимо окрестить их каким-либо именем. Еще Бог знает, как они сами-то себя называют; а скорее всего, и никак не называют, точнее, называют общим именем, какое дает себе великорус, где бы он ни находился, это *хрестьянин*. В особом имени для с в о и х, для самих себя великорус не нуждается, довольствуясь одним указанием на свою христианскую веру: он хрестьянин. Но ведь новые поселенцы — не “свои”, а чужие. Мало того, что они незнакомые, не родня; у них все не “наше”. (При замечательном однообразии деревенского быта даже мелкие отличия в одежде, пище, говоре и т.п. кажутся резкими и обращают на себя особое внимание)» [2, с. 41].

Народная культура — это не наука. Народная культурная традиция на самом деле — это не нечто абстрактное, а люди, простые люди, знающие что-то такое, чего остальные или окружающие не знают. Им этого достаточно, никаких попыток систематизировать, определять границы явления для того, чтобы ощущать себя выделенными из окружающего мира, чаще всего не делается. Им достаточно самой выделенности! Да, это совсем не наука, которая в начале становления любой из своих отраслей, озабочена тем, как выделиться и заявить о себе. У явлений народной культуры другие задачи, как и у самого крестьянского мира — выжить и жить так, как это видят они. А для этого чаще всего приходится не кричать о себе, а как раз наоборот — прятаться и прятать свою Веру. Кстати, вера для русского хрестьянина понятие не религиозное. Вера означает обычаи. Меня, к примеру, мои старички частенько встречали такими словами: «У нас вера такая — мы без самовара с гостем за стол не садимся!»

Если бы мои собственные дед и бабка не были своими в Тропе, я бы никогда не был принят моими информаторами (отвратительное для русского человека слово, но я употребляю его, чтобы показать, что пришел я к ним еще «ученым», «исследователем» традиционной культуры, а среди ученых — этнографов и фольклористов — принято говорить так, ставя между собой и другим этот щиток наукообразности, чтобы ни в коем случае не выпасть из рамок чистой науки). К счастью, я скоро

сдался и начал учиться у принявших меня стариков. Тогда мне удалось кое-что понять в этой «культурной традиции». Начну по порядку, сначала об источниках.

Очень многое пришло из записей моего деда. Даже название Тропа, Тропа Троянова взято мной оттуда. На самом деле оно не является самоназванием. Старики вполне обходились без самоназваний, жили и жили себе. Дед же называет Тропой Трояновой Млечный путь и называет его путем Руси. Звучит это у него так: «Русь пришла на Землю Тропой Трояновой, идет Тропою по Земле и Тропою уйдет, когда исполнится сорок тысяч лет». Ясно, что исходил он из нескольких начальных строк «Слова о полку Игореве»:

О Бояне, соловию стараго времени,
абы ты сиа плъкы ущекоталь,
скача, славию, по мыслену древу,
летая умом под облакы,
свивая славы обаполы сего времени!
Рища в тропу Трояню чресь поля на горы [3, с. 92].

Однако при этом он считал, что хранит и передает вместе с остальными стариками некие знания того, как идти и куда идти. Моя бабушка Екатерина Ильинична называла Млечный путь то «Молочная река в творожных берегах», а то и «Молочная тропа». Я это помню. Конечно, Млечный путь, как основное тело нашей галактики, никакой тропой Руси не является, но он, безусловно, место, где мы живем, а значит (если межпланетные полеты возможны) и место, где мы путешествуем. Если только межпланетные полеты возможны...

Для меня же лично очень скоро, после знакомства со стариками, оказалось, что они сами с их знаниями и мировоззрением и есть путь или, по крайней мере, его привратники, хранители начал.

Дед мой, Владимир Харлампович Комаров, был потомственным уездным писарем и любил пописывать в славянофильском ключе. Возможно, страсть эта была у него наследственной, потому что от его отца, Харлампа Сосипатрыча, и деда — Сосипатра Силыча — тоже оставались какие-то тетради с записями.

Бабушка рассказывала мне, что сожгла их в тридцатом году, когда деда по доносу на полгода забрали в НКВД (или как это тогда называлось?). Что было в тех тетрадах, я не знаю, но у деда есть намеки, позволяющие считать, что многое из них он по памяти восстановил в «амбарных книгах», которые оставил мне по завещанию. Писать их он начал за полгода до моего рождения, каким-то необъяснимым способом посчитав, что должен родиться преемник. Более того, он даже предупредил своих друзей, что однажды я к ним приду. Это поразительно, но через много лет я к ним действительно пришел!

Бабушка долго хранила эти тетради после смерти деда и передала мне только лет в семь-восемь, когда стала себя плохо чувствовать. Видимо, еще в страхе перед событиями тридцатого года, она сказала, что это «дедушкин завет», и велела поклясться, что я никогда и никому их не покажу. Я, конечно, поклялся, но довольно скоро перестал относиться к этому всерьез. Сужу об этом потому, что тетради эти как-то затерялись в доме, а потом обнаружились снова, когда мне было уже лет двадцать, и оказались разрисованными цветными танками. Я даже не помнил, когда я это сделал...

В то время я уже учился на истфаке, и у меня развились некоторый профессионализм и, своего рода, академический снобизм. Я просмотрел тетради и пренебрежительно оценил дедовские опусы как псевдоисторические домыслы. Однако тот же профессионализм заставил меня отнести к ним как к историческому документу определенной эпохи, и при этом, как это ни странно, я не только сохранил их, но даже никому не показал. Тогда я не понимал, почему так поступаю. Сейчас, когда я совсем по другому отношусь к дедовскому наследию (хоть и не без улыбки порой, но с уважением) и даже начал публиковать некоторые из его материалов, — сейчас я, пожалуй, горжусь тем, что умудрился ни разу не нарушить свою клятву. В том, что я избежал по случайности всех искусов хвастовства, есть для меня нечто мистическое, как и в том, что кто-то из стариков тридцать лет ждал прихода наследника Харлампыча.

Впрочем, я оказался у них вовсе не из-за этих тетрадей. Это было совершенно случайно, я даже не начинал эти сборы как фольклорист или этнограф. Меня интересовали ремесла. Я ездил по всей Ивановской области в поисках мастеров. В итоге, я вполне естественно оказался однажды в своей родной деревне

в Савинском районе. А там пошло и поехало!.. В конце концов, я позабыл то, зачем пришел, и стал брать то, что давали. Вот об этом и рассказ.

Все троповые старики, у которых мне довелось поучиться на территории Ивановской и Владимирской областей, считали себя потомками офеней и называли по старинке офенями. Но соседи считали их колдунами и, рассказывая о них, приглушали голос. Мне повезло и лично как человеку, и как этнографу. Как этнографу-собирателю, пожалуй, даже очень и очень повезло. Не многим из этнографов довелось полноценно, по-свойски войти в мир хотя бы одного колдуна. У меня же в жизни их было несколько. Считали ли они сами себя колдунами? Вопрос не однозначный. Первому из них, Степанычу, я его задать так и не рискнул, хотя очень хотел. А вот у второго, по прозвищу Дядька, однажды спросил. Не передам дословно, как прозвучал его ответ, но смысл его сводился к одному старому анекдоту:

Идет мужик по лесу, видит: сидит какой-то человек на суку и рубит его под собой.

— Эй, ты чего делаешь?

— Дрова рублю!

— Так навернешься же!

— Вали отсюда, без советчиков обойдусь!

— Ну, руби, только навернешься!— махнул рукой и пошел дальше.

— Иди, иди, не мешай работать!

Только отошел немного, слышит: хрясь!

— Эх ты! Вот ведь колдун, а!

Можно было бы посчитать, что колдовство они считали просто здравым смыслом. Но если быть до конца точным, то как раз здравый-то смысл они и не уважали, считая его одной из ловушек нашего мышления. Воротами в человеческое естество они считали не здравый смысл, а Разум, но рассказывать об этом придется особо, когда дойдем до их Науки мышления. К счастью, они не только делились со мной своими знаниями, они учили. Это редкая удача, я могу это уверенно заявить, потому что в моей жизни были встречи и с другими колдунами,

и с шаманами, и волхвами новой формации, но о некоторых из них я узнавал, что они колдуны, только через много лет, а с некоторыми даже не смог начать разговор, как это было с одним хантыйским шаманом. Эти учили и учили, по-своему, системно. Не могу похвастаться, что и я стал колдуном, но вот понять их я постарался. Удалось ли мне это полноценно — не знаю. Как удалось, так и расскажу. Начну с истории.

Изредка мои старички рассказывали о своих отцах и дедах, но больше о прадедах. Прадеды у них были скоморохами. Целой артелью бродячих скоморохов, ходоков, пришли они в конце XVII века, но уже при Петре, в Шую, а потом «испоселились» в нескольких деревнях Шуйского, Ковровского и Суздальского уездов. Офеней так и звали в прошлом веке — суздала. Но еще их звали мазыками.

Один из моих старичков — Дядька — рассказывал мне, что мазыки или музыки — это своеобразная аристократия среди офеней, потому что они-то как раз и вели свой род от тех скоморохов-музыков. Отсюда, говорил он, и два имени блатного языка — фени, который, как общеизвестно, произошел от тайного офенского языка и до сих пор хранит многие из его слов. Прочитую Михаила Грачева. В книге «Язык из мрака: блатная музыка и феня» у него говорится: «Слово феня обозначает то же самое, что и блатная музыка, и оно, конечно, никак не связано с женским именем, а является одним из элементов воровского фразеологизма ботать по фене — “говорить на языке деклассированных”. Когда-то оно имело следующий вид: по офене болтать, т. е. говорить на языке офеней. Офени — это торговцы мелким товаром, у них был свой условно-профессиональный язык, который они использовали при обмане покупателей, в опасных ситуациях, когда нужно было скрыть свои намерения и действия. Бродячая, полная риска профессия офеней сделала их близкими к людям “дна”. И поэтому не случайно в лексике деклассированных элементов имеется значительное количество слов, перешедших из условно-профессионального языка офеней» [4]. Блатные, если верить Дядьке, не только позаимствовали у офеней тайный язык, но и заметили, что их у офеней два: общий для всех офеней и особый, на котором говорили только мазыки или музыки. Именно поэтому блатной жаргон называ-

ется то феня, то блатная музыка. Но, взяв феню, блатные не смогли освоить языка мазыков, его и офени-то знали немногие. Дядька, как и процитированный мною Грачев, считал, что это произошло из-за того, что торгашеский язык офеней подходил блатным потому, что был полуворовским. А вот мазыкская речь им попросту была не нужна, настолько она была специфически скоморошья. Называлась она, если верить Дядьке, «язык-огонь» и «язык-свет», а феню сами офени звали «маяк».

Исторических подтверждений существования таких языков у офеней я найти не смог, сколько ни старался, но, тем не менее, отказываться от этого названия не хочу, потому что очень многое рассказывалось мне с постоянными уточнениями: «На Огне это называется так-то». Даже если это очень поздняя придумка, она уже факт культуры и, к тому же, облегчает понимание той «науки», с которой мне довелось столкнуться.

Итак, дедовские записи, рассказы бабушки и несколько лет обучения у потомков офеней и, может быть, скоморохов — вот что стало начальными источниками по возрождению традиции, которую мы называем Тропой. Затем начались целенаправленные этнографические сборы и поиск подтверждений в науке — этнографии и психологии, который мы ведем уже все вместе, всей новой Тропой.

Постоянный поиск этнографических подтверждений оказался принципиально важным, потому что к девяносто шестому году умерли все старики. Мы оказались с колоссальным по объему и во многом практически не имеющим аналогов материалом на руках. Мы до сих пор по детски радуемся, когда очередное этнографическое издание, попавшее нам в руки, приносит новое подтверждение того, что мы знали по единичным свидетельствам наших учителей. Это значит для нас, что знания наши, несмотря на всю уникальность, не оторваны от общей народной культуры, и в них проступают подчас невидимые в других явлениях русской культуры законы развития русского духа. Именно это присутствие четких и даже жестких закономерностей в исследуемом материале заставило нас отойти от фольклорно-этнографического подхода в чистом виде и перейти к исследованию психологическому, рассматривая полученные знания как народную школу «наивной» психологии.

Традиция изучать народную психологию этнографически вообще родилась в России задолго до появления в конце прошлого века «народной психологии» в Германии. Сейчас бы я отнес ее к источникам или составным частям современной культурно-исторической психологии. Тем не менее, мы сохраняем за тем предметом, что описывается в этой книге, название «Прикладная этнопсихология». Этнопсихология — в значении психология этнографическая, а не этническая. А прикладная потому, что мировоззрение Тропы, которое и есть основа этой психологии, родилось в те времена, когда мир спасала еще не наука, а магия. Про магию же — когда я спросил, можно ли так говорить про русских колдунов — мой первый учитель Степаныч сказал:

— Магия значит могия. Кто может, тот и маг!

Деды. Их обычаи заставляли их прятаться, исчезать от глаз наблюдателей и даже доброхотов. Я ходил к ним семь лет, но мне ни разу не разрешили ни фотографировать, ни записывать на магнитофон и даже вместо имен требовали использовать прозвища. Их отговорки казались подчас такими наивными! Записывать нельзя было, потому что «некогда», фотографировать — потому что «нечего тут фотографировать», рассказывать о Тропе и о них — потому что, пока ты не понял, ты наврешь, а когда поймешь, то будешь «рассказывать себя», а не о других. Даже говоря о них.

Я понимал, что это традиция, переданная им их собственными родителями и дедами, но далеко не сразу с этим смирился. Желание как-то обжулить их, обмануть и сделать тайком записи казалось мне ложью во спасение. Степаныча я боялся и поэтому нарушать запреты не рисковал. А с Дядькой однажды попробовал. Он был очень «ругучим», но с ним было не так страшно. Я взял диктофон, зарядил и спрятал во внутреннем кармане в надежде, что сумею незаметно включить, когда Дядька начнет рассказывать что-нибудь интересное. То ли он все понял, то ли почуял подвох, а может, что гораздо вероятнее, просто не мог начать настоящего разговора, пока я не в подходящем состоянии сознания, — но он мурыжил меня всяческой чепухой, наверное, часа два. Все это время я, естественно, был в напряжении, потому что боялся, что он заметит магнитофон, мысли мои постоянно

сбегали к образу того, как незаметно его включать и, самое страшное, как выключать, чтобы — не дай бог! — он не щелкнул сам, когда испишет всю пленку. К тому же все это перемежалось постоянными переживаниями и по поводу того, что меня уличат во лжи — я же обещал ничего не записывать (все то же «некогда ерундой заниматься — пришел учиться, ну и учись!»), что меня вообще выгонят и больше не примут, что я вообще обгажусь, как последний обманщик и подлец. В конце концов, я не выдержал всех этих мучений, принял решение, что никогда больше ничего не буду делать тайно от стариков, сбежал под каким-то предлогом от Дядьки и быстренько спрятал магнитофон в рюкзак. И тут же понял, что сразу же и нарушил только что принятое решение ничего не делать тайком. Пришлось пойти к Дядьке и все рассказать. Вопреки всем моим ожиданиям, мы долго смеялись, и сразу же пошла интереснейшая и сложная работа. Тогда мой разум впустил в себя наипервейшее требование троповой прикладной психологии — быть искренним.

Это было на второй год моих сборов, но лишь на третий год, когда они превратились из «фольклорно-этнографических экспедиций» в учебу, я однажды осознал, что что-то во мне, точнее, в моем мировоззрении принципиально изменилось, я понял и то, что за всем в Тропе стоят глубокие психологические и психотерапевтические механизмы. В том числе и в освобождении от собственного имени, как это, кстати, делается при любых переходных обрядах во всех религиях и верованиях мира. Время идет, мои знания Тропы углубляются, и с ними растет уважение к начальным требованиям стариков. Поэтому мы до сих пор применяем этот прием на Тропе и меняем свои имена на учебные, чтобы прошлое не так тяготело над пришедшими за обновлением.

Тропа не любила о себе рассказывать. Времена были такие. «Побольше помолчишь — подольше поживешь», — говорили мне. Всего десяток лет назад один из троповых стариков поразил меня своими словами, когда я просил разрешения опубликовать какие-нибудь материалы о Тропе и о нем:

- Даже когда я умру, никогда не поминай моего имени!
- Но почему? Времена уже другие!

- Времена, может, и другие, а люди те же. У меня внуки есть.
- Ну а внукам-то что могут сделать?!
- Что? Затравят!

А он был одним из умнейших людей, которых я встречал в своей жизни, как я это сейчас понимаю. И исходил он даже не из жизненного опыта, а исключительно из знания того, как устроено человеческое мышление, какова его механика.

Не выделяться из окружения, не привлекать к себе внимания было с рождения воспитано в них обычаем. Выставить их сейчас на всеобщее обозрение значит не только нарушить этот обычай и их заветы, но и выставить искаженно. Я не смог получить свои знания о них в ходе чистого научного сбора информации. Мое общение со стариками было глубоко личным. Когда я приезжал, они все обставляли так, что мне крайне редко приходилось встречаться с их родственниками или даже соседями. Например, последний из старичков, Поханя, когда приезжала на выходные внучка с дочерьми и мужем, здоровенным битюгом лет сорока и за центнер весом, тут же говорил мне с заговорщицким видом: «Толстомордый приехал. Уходим задами в подполье». И уводил меня в маленькую избушку, которая стояла у них «на задах» — в дальнем конце огорода. И мы практически не выходили из избушки, пока родственники не заканчивали свои дела и не уезжали. Они приезжали из Коврова в основном из-за картошки, которую сажали на участке у Похани. Ни я, ни Поханя, ни его знания их просто не интересовали. Мне кажется, они считали его чокнутым. Его жена, тетя Катя, никогда нас не выдавала и спокойно «брала родственников на себя». Она приходила только перед самым отъездом и звала Поханю прощаться. Я вначале рвался проявить вежливость и сходить вместе с ним, но мне быстро и без лишних слов объяснили, что это ни к чему. Только хуже будет. Я вспомнил недоброжелательный взгляд Толстомордого и больше не рвался.

Жена Дядьки тетя Нюра, когда я приезжал, соседей дальше крыльца не пускала: «Занят. Не беспокойте». К Дядьке в деревне относились с почтением и беспокоить в таких случаях не решались.

Кроме всего прочего, я довольно быстро понял, что я прихожу к старикам не за диссертацией, а за чем-то совсем другим. Сейчас я бы назвал это мировоззрением. И они понимали это

и, если можно так выразиться, старались соответствовать моему запросу. Можно сказать, что для общения со мной, еще точнее было бы сказать, что для общения с тем вопросом, который приходил со мной, они вычленяли соответствующую часть себя из всей своей полноты. С одной стороны, это была для меня самая интересная часть этих людей, с другой, очень многое терялось, особенно бытового, повседневно-поверхностного, что было просто не нужно нам на земле нашего общения, но что обычно и составляет основной объем «личности для других». В итоге в моих описаниях они перестали быть полноценными, живыми людьми, а стали, в общем-то, литературными персонажами. Я обеднил и изменил их помимо своего желания уже тем, что своим интересом заставлял при мне жить только той частью себя, которая мне была нужна. Я определенно знаю, что если я сейчас раскрою их имена, их родственники скажут, что это неправда, наш дед или наша бабушка никогда не были такими! Он все придумал, все наврал!

Да, я многое придумал, додумал и даже приписал им. Я писал свои записи всегда значительно позже насыщенного общения и головокружительной учебы, а уж обрабатывал спустя много лет. Тогда я уже плохо помнил конкретные, точные слова, за исключением врезавшихся в память. Но зато, по прошествии лет, вдруг соединялись в моей голове разрозненные случаи, приходило понимание, и я начинал видеть, что же стояло у дедов за словами и поступками. Тогда-то я и бросался записывать свое «откровение». И тут же понимал, что очень плохо помню, как же они подводили меня к осознанию этого. И сколько я ни пытался быть предельно точным, как этнограф при записи быличек, ничего не получалось. Я даже доходил до отчаяния. Но однажды я окончательно плюнул на свое желание состояться как ученый и решил, что полученные мной знания важнее, чем карьера и неуязвимость. Тогда, на основе старых записей, я начал создавать обобщающие образы каждого откровения. В общем, это уже мое видение. Неожиданное оправдание себе я, спустя годы, нашел в статье А.Л. Налепина, посвященной такому же собирателю-дилетанту, но одновременно классику нашей фольклористики — Н.Е. Ончукову. Современная наука упрекает его во множестве упущен-

ний, сделанных при записи сказок и былин. Однако: «Все эти очевидные для современной фольклористики аксиомы, как мы видим, были хорошо известны и фольклористам рубежа XIX–XX вв. Однако собиратель-одиночка (а именно это характерно для фольклористики той эпохи), работая на пределе физических сил и исследуя огромные в географическом отношении районы, не успевал все эти требования выполнять — надо было срочно фиксировать навсегда уходящее, и, как показала история, в этом они были правы» [5].

Со стариками нельзя было быть ученым или репортером. Передо мной сразу же и очень жестко был поставлен предельно личный вопрос: «Зачем ты пришел?» И он ставился неоднократно и всеми ими. Ставился сразу в нескольких плоскостях, начиная от Бога и Русского пути и до самых бытовых целей. И постоянно жесткий выбор — или то, или другое, но не посерединке. И ответ прямо сейчас. Или уходи — если ты не искренен, то нам есть чем заняться и без тебя. По сути, выбора и не было на самом-то деле. Они меня готовы были принять только таким, с каким им было приятно проводить время. Это были последние годы их жизни, и они проводили их в свое удовольствие. Но мое мышление требовалось перестроить, убрать из него разъедающую интеллигентскую потребность сохранять множество путей к отступлению и размазывать себя недееспособной кашей по тарелке умствований. Поэтому я подвергался, с одной стороны, постоянной чистке, а с другой, перестройке мышления, «мыслена древа». А это, в первую очередь, означает искусство видеть выбор, узнавать его и принимать определенные решения, поскольку древо это строится нами из решений на основе выборов. Частенько это казалось мне чуть ли не садизмом с их стороны, по крайней мере, излишней жестокостью. Но когда через год ушел первый учитель, я понял, что времени сюсюкать действительно нет. Ни у дедов. Ни у меня. Просто ни у кого нет лишнего времени!

Ни я, ни они не такие, как это мной описано. Но там, внутри, в нашем Мире мы были такими и только такими. Там иначе нельзя.

Да, я вошел в Тропу, как в иной мир. Но как об этом рассказать? Ведь он почти ничем не отличался от привычного мира

обыденности и в то же время был совсем иным. Это были те же русские деревни с их колхозно-советским наследием, в которых я жил и раньше. Но было в них что-то от Диккенсовской Лавки древностей.

Помню, в детстве я прочитал про эту лавку, которая всегда находится где-то рядом, на одной из узких и привычных до стертости Лондонских улочек, но которую никак не удастся найти самому, по своей воле. Кажется, вот она улица, вот тот приметный дом, и вон за тем углом стоит она, но нет... нет... нет... А потом она внезапно сама появляется на твоём пути там, где ты ее не ждешь и не ищешь, и дарит путешествие в сказку.

И я нашел такую лавочку в Иванове — это был старый охотничий магазин, живший совершенно определенно где-то недалеко от крошечного рынка со странным именем Барашек. В витринах Магазинчика стояли старинные ружья, чучела и что-то еще, завораживавшее меня. Я не помню, бывал ли я внутри, но у витрины стоял подолгу. Мы жили не так далеко от Барашка, и иногда у меня появлялись возможности забежать к Магазинчику, но редко удавалось мне застать его на месте...

Конечно, впоследствии, уже взрослым, я разобрался в механике этого чуда. Просто там были улицы, тогда чем-то для меня схожие, и я искал не там. А потом, когда запомнил весь этот мирок, Магазинчик переехал жить в другое место... Но ведь это и есть главный вопрос человеческой жизни: в детстве, когда волшебные лавки и двери еще являются нам, мы ищем не там, а потом, вместо поиска начинаем заучивать Мир наизусть...

Однажды, находясь у стариков, я вспомнил про Лавку древностей и подумал, что мне очень повезло, раз она была у меня и не дала забыть про детство. Древность вообще завораживает и оживляет ощущение чудесности мира. И древность, которую ты помнишь, не дает отказаться от поиска.

Тропа всегда была для меня завораживающе наполнена древностью, как Волшебная лавка. Не стариной даже, а именно древностью с ее отсутствием геометрии, технологии, рекламы. Тропа, эти старички, их дома, их игры и чудеса, даже их рассуждения и записи, словно вышедшие из века деревенских славянофилов, корреспондентов этнографического бюро князя Тенишева, похожи для меня на Псковские или Новгородские

церквушки шестнадцатого-пятнадцатого веков — неровные, не-архитектурные и негеометрические, но словно бы выпеченные из теста и все еще теплые.

Наверное, старики и сами с наслаждением играли в Тропу. Но игра была священна для них как для потомков скоморохов, даже божественна. Они предпочитали и жить, и работать, и даже уходить играючи. Они звали своих собственных дедов и прадедов играцами. Но если ты не выходишь из игры, то вся жизнь оказывается игрой. Не это ли и подразумевалось, когда были сказаны слова: станьте как дети?!

Я помню странные сказочные ночи со стариками в, казалось бы, таких знакомых мне Савинских и Ковровских лесах, но я помню и не менее странные ночи чудес в обычных деревенских избах, когда мы словно мчались сквозь неведомые пространства. Помню и скоморошьи издевки, и подлинное чудеса, и самокопание, чистку сознания, дрящущую сутками, просто сутками подряд! Песни, пляски, игры... и мои обиды! О! мои обиды! Как я обижался! Как я хотел сбежать от них и спасти свою личность! Как я рад, что мне это не удалось!

Не удалось!.. Это еще суметь рассказать, как не удалось! И кому не удалось! Однажды мой первый учитель Степаныч в очередной раз зацепил очень болезненный кусочек моей личности. Не все помню точно, но как-то это выходило на недооцененность. Всплывает уже образ, в котором он мне говорит, что я говно и пришел к нему, чтобы сбежать в старину, а в старину я сбегаю, чтобы отомстить всем, кто меня недооценил, не оценил по достоинству и тем обидел. А поскольку я их победить не могу, то и сбегаю в самоубийство, потому что я трус, слабак и тупица. И я переполнен ненавистью; ненавижу всех, кто меня недооценивает — основной способ моих взаимоотношений с другими людьми, а сбежать из жизни, совершать самоубийство — основной способ взаимоотношений с самим собой. И его лично я при первой же возможности накажу тем, что сбегу и брошу, значит, убью в моем мире!

Мало того, что он меня «готовил» к такому разговору несколько суток, что, значит, делал все, чтобы такие слова ударили побольней, так к тому же это все явно не имело ко мне никакого отношения. Я ощущал в себе немало недостатков, но только не этих.

Я сидел перед ним и держался в облике ученика, сколько хватало сил, вроде бы, пытаюсь все это понять. Даже, кажется, искал какие-то соответствия сказанному в своем мышлении. Вдруг мозги мои словно схлопнулись, я истощился и понял, что не могу больше сдерживаться и изображать ученика. Все, что говорил этот сумасшедший дед, было настолько неточно, неверно, не то, он ТАК не рассмотрел и не понял меня, что стало ясно — учиться у него мне больше нечему. Обижать его мне не хотелось, все-таки он старался, но ведь одновременно он и пользовался мною, чтобы поиздеваться и почувствовать себя выше кого-то! Я не люблю быть мальчиком для битья или навозом для чьей-то почвы. Подчеркнуто ровно, чтобы не обидеть, я поблагодарил Степаныча «за все, что он для меня сделал», сказал, что я многому у него научился, но мне пора идти. И начал собираться.

Он смотрел на меня, как-то странно улыбаясь, но я от усталости никак не мог понять, о чем говорит этот его взгляд, и уж совсем не замечал, что делаю именно то, что он про меня только что сказал! Я сбегал, выкидывая его из своей жизни навсегда, можно сказать, убивал его в моем мире.

Сейчас-то я вижу, какую боль он разбередил во мне, говоря про недооцененность и предательства, но тогда она даже намеком не присутствовала в моем самоощущении. Это было для меня открытием — в нас живет и такая боль, которую мы запретили себе чувствовать и помнить. А вместе с ней мы вырезали часть себя и часть способности воспринимать мир, соответствующий этой боли. Вот так человечество и теряло Видение, за которым охотятся даже Боги мифов, и без которого никакая Магия не возможна.

Такую боль очень трудно победить, потому что желание сбежать становится с ее приходом всецельным. Сколько людей, которых я не смог удержать, сбежало с Тропы, разбередив ее!

Я помню, что состояние мое стало очень странным — видение сузилось, зрение словно стало «туннельным». Что-то гудело и шуршало в пространстве вокруг. Взгляд Степаныча начал меня пугать, и я избегал его. Я оделся и пошел к двери. Но двери там не было. Я подумал, что спутал в этом состоянии дом. И тут же понял, что это действительно так. Это в доме тети Шуры, бабушки, которая привела меня к Степанычу, дверь находилась в этом месте. И я тут же вспомнил, где дверь в этом

доме, и направился туда. Но и там двери не было. Тут уж я без труда вспомнил, что в этом месте дверь была в моем собственном доме, который я купил у другой бабушки в моей родовой деревне. А у Степаныча дверь совсем в другом месте. Но и там я ее не обнаружил, но зато в памяти всплыл образ совсем случайного дома, я даже не помню, из какой местности...

Я не знаю, сколько времени я бродил по всем имевшимся у меня образам домов. Помню только, что возле последней двери я остановился, посмотрел на нее, что-то словно тонко сломалось в моей голове, и я сел рядом с дверью на корточки под стену и задумался. Не могу сказать, о чем я думал, помню только, что плакал и уснул, а когда проснулся, Степаныч с улыбкой сидел передо мной на табурете. Было по-утреннему светло, а уйти я пытался ближе к вечеру. Мне ни на миг не показалось, что это все приснилось. Но утро вечера мудренее, и я знал, что никуда не уйду, потому что мне нужна помощь Степаныча. Я попытался подняться, чтобы сказать ему об этом, и свалился на пол, вопя от боли в ногах. Я катался по полу, скрипя зубами, а Степаныч заходил от смеха и кричал мне что-то о том, что у него бы сил не хватило проспать ночь на корточках, он мне завидует — такой подвиг совершить, и что он уже давно ждет, когда я проснусь — специально не будил, чтобы пробуждение было порадостнее! Сейчас бы я ему, конечно, сказал правильные слова, которые полагается говорить русскому человеку в таких случаях хорошим друзьям. К сожалению, я в то время еще имел запрет на настоящий русский мат!

Степаныч, однако, довольно быстро убрал мои боли, куда-то понажимав и что-то еще поделав с моими ногами, дотащил меня до стола и стал кормить.

— Степаныч,— сказал я, как только меня отпустило,— давай поработаем с недооцененностью!

— Тебе пора домой,— ответил он.

Я засмеялся, считая, что это шутка, что после того, когда он таким образом не отпустил меня, мы просто обязаны с ним залезть в эту мою проблему. Но он набил меня пищей поплотнее и действительно отправил домой, сказав только на дорогу:

— Теперь ты справишься сам.

Помню, как я сидел в пригородном поезде Новки-Иваново, словно больной, забившись в угол, и глядел в мир, окружаю-

щий меня, точно сквозь тот же туннель откуда-то из своего далека. За моим столом играли вчетвером в карты, в «дурака», яростно сердясь на своих напарников за проигрышные ходы. В соседнем купе пили и матерились с затравленными бабами охамевшие мужики. За двухместным столиком у окна обедала семья из пяти человек со скулящим ребенком. Мать держала его на коленях и время от времени шлепала, чтобы не мешал разговаривать, истерично крича: «Да заткнешься ли ты! Не видишь, мы разговариваем! Сиди спокойно, чего тебе еще не хватает?!» И не слушая его, снова ныряла в разговор, крепче прижимая к себе рукой. А говорили они все, по всему вагону, почему-то только о картошке: о том, какая она в этом году, сколько ее, сколько мешков удалось набрать, почему будет зимой, и как бороться с колорадским жуком... Даже пьяные хвастались, как «загнали» кому-то машину краденой картошки... А ребенок все ныл и гадючничал, незаметно скидывая со стола куски еды на пол и матери на платье. Он вызывал у меня отвращение, и я старался его не слышать. Потом я понял, что делаю то же, что и его собственная мать и перевел на него свой «туннель». Это стоило определенного труда — понять его, но вдруг у меня словно прорезался слух, и я начал его слышать. Он просил у матери отпустить его с колен... Наверное, ему было скучно с ними.

Тогда я впервые понял, что Тропа — это иной Мир.

ЭТНОГРАФИЯ



ДУХОВНОЕ ПЕНИЕ СТАРОЙ РУСИ

СТАРИКИ

Если бы я был профессиональным фольклористом или этнографом, я бы мог начать этот рассказ так: в течение семи полевых сезонов 1985—1991 гг. мною изучалась в двух районах бывшей Владимирской губернии специфическая традиция народного пения. К сожалению, я не являюсь ни фольклористом, ни этнографом, и если называть вещи своими именами, попросту говоря, ездил по окрестностям деревни, откуда я родом (это на границе теперешних Владимирской и Ивановской областей), и записывал все, что мне казалось интересным. Я хоть и историк по образованию, но ни о каком профессиональном сборе материала не было и речи. Кроме того, я был нацелен на поиск совсем других вещей и только в восемьдесят девятом году, наконец, обратил внимание на пение. Основная сложность при этнографическом сборе в том, что ты не знаешь, что спрашивать — так оно все ново, а старики не знают, что говорить — настолько это для них привычно и само собой разумеется. В силу этого, любой материал народной культуры, для того, чтобы им овладеть, требует неоднократного к нему возвращения с неперменным погружением в его практику. Я же мог вести только записи, но не петь — «немотствовал» в то время. Ну а потом произошло то, что знакомо каждому собирателю — пришло время упущенных возможностей. В начале девяносто второго года в живых осталась лишь одна бабушка в Савинском районе Ивановской области, да и та категорически отказалась исполнять песни, готовясь к уходу. Грех. Правда, где-то на Савинском радио должны остаться ее ранние записи. Теперь эта песенная традиция вряд ли когда-то будет полноценно восстановлена. Но я все-таки хочу испробовать

вину, которую ощущаю, и, по крайней мере, хотя бы рассказать о ней и несших ее людях.

Сами они говорили про себя: «Мы — офени». Офени, коробейники, были мелкими торговцами вразнос, ходившими со своими корбушками по всей Руси и торговавшими всей бытовой мелочевкой, необходимой крестьянину, а порой и горожанину. Работа во все времена весьма опасная, требовавшая способности защитить себя. Это предполагает и владение боевыми искусствами, что я и обнаружил, а также «науку невидимки», умение быть незаметным и «нечитаемым» для внешнего мира. Тут офени преуспели, о чем говорит хотя бы наличие тайных «офенских» языков, теперешней «блатной фени», о которой мы уже говорили.

Офени были очень закрытой социальной группой, и исследователи о них знают мало. Неизвестно даже происхождение имени офени — некоторые исследователи выводят его чуть ли не от Афинских греков, якобы когда-то испоселенных на Владимирском Верхневолжье — «афинеи». Во второй половине девятнадцатого века крестьяне Верхневолжья все чаще начинают заниматься отхожими промыслами и торговлей. Истинные офени, до этого мало интересовавшие исследователей (в XIX веке насчитывается всего около двух десятков публикаций, в XX — вряд ли больше), теперь к тому же еще и теряются в общей массе бродячего крестьянства. На конец девятнадцатого века в материалах Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева зафиксировано такое сообщение: «Все крестьяне (имеется в виду один из уездов Владимирской губернии — А.А.) — офени, остаются дома неспособные к торговле да пожилые. Торговля идет исключительно иконами, при этом торгуют и с южными губерниями (в Малороссии, Крыму, на Кавказе) через посредничество доверенных лиц, и с Сибирью» [6]. Исконные же офени как бы растворяются в этой массе торгового крестьянства, возможно, не в силах устоять в конкурентной борьбе, а может быть, в какой-то своей части и радуясь возможности окончательно исчезнуть из-под возможного наблюдения. Во всяком случае, та группа наследников офенской традиции, с которой довелось столкнуться мне, прямо дала понять, что они предпочитают жить скрытно.

По словам моих информаторов, в конце семнадцатого века в Шую пришла и осела одна из последних артелей настоящих

скоморохов. Именно настоящих, потому что к семнадцатому веку древнее скоморошество на Руси выродилось в фиглярство и шпильманство. Надо заметить, что семнадцатый век был временем яростных гонений на традиционную русскую культуру. По всей Руси Великой, Малой и Белой по высочайшему повелению Алексея Михайловича, прозванного современниками Тишайшим, на берега Москвы-реки и других рек возами свозили и сжигали домры, свирели и гусли. Скоморохов же пороли, забивали в железа и отправляли на «севера». Ко времени правления Петра Первого институт скоморошества исчезает как явление культуры, а носители традиции буквально растворяются в других социальных слоях. Растворяются, но не исчезают совсем. Большею частью скомороший приклад передается далее как посвящение Дружек, по сути, жрецов, окручивающих, повивающих, а также защищающих от порчи и колдовства свадьбы. Та же артель, о которой рассказали мои старички, со временем перебралась на территорию теперешних Савинского, Ковровского и Суздальского районов и слилась с офенями. Очевидно, они ощущали себя выделенной группой даже среди исконных офеней, не говоря уже просто об окружающем крестьянстве, в силу того, что хранили какие-то древние знания. Их мы сейчас, вслед за моим дедом, называем Тропой Трояновой.

Надо полагать, что скоморохи органично влились в офенский быт с его бродячим образом жизни, постоянной готовностью противостоять опасностям дороги и необходимостью завлечь зрителя-покупателя. Я не случайно создаю это понятие — зритель-покупатель. И этнографические описания деятельности коробейников, и мои личные наблюдения среди их потомков дают мне основания считать, что зрелище (спектакль) было для настоящего офени подчас более важно, чем коммерческий успех его похода.

Для объяснения этого психологического феномена мне придется немного рассказать об их отношении к Дороге, Тропе. Я не случайно ставлю эти слова с большой буквы: и для скомороха, и для офени восприятие дороги мистично. Тропа не является для них средством или местом передвижения в пространстве. Тем более что и само пространство воспринимается в первобытных культурах отнюдь не как в Ньютоновской физике. Мы можем безбоязненно считать, что они воспринимают любое

пространство как пространство сознания. В силу этого движение в пространстве становится, попросту говоря, проживанием этого пространства. С этой точки зрения, Тропа может рассматриваться как специфический феномен всей русской культуры и, в каком-то смысле, одной из основных черт так называемого Русского Духа. Может быть, вовсе не натяжкой было бы сказать, что Русь — это Мир Тропы.

Русь постоянно в движении, хотя и не так, как кочевые народы. Разница как раз в Тропе, которая не нужна кочевнику, но зато прокладывается и используется Русью. На протяжении как минимум последних полутора тысяч лет зафиксированной истории Русь постоянно в движении и как государство, и как этнос, и как люди его составляющие. Если вспомнить **«откуда есть пошла Русская земля»**, то с этого начинается ее история и Нестор. «По мнозех же временах сели суть словени по Дунаеву, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. И от тех Словен **разидошася по земле** и прозвашася имены своими...» [7]. Даже в последние годы, как показывают исследования этносоциологов, склонность русских к миграции значительно выше, чем всех других народов бывшего Советского Союза. Как говорили мне в Тропе, «мы легкие на ногу».

Как только в сознании идущего утверждается понимание дороги как образа жизни и самой жизни, он перестает воспринимать ее как простое средство достижения цели, как то, что надо пережить, перетерпеть с надеждой на будущий отдых и радость. В этом психология скомороха и офени коренным образом отличается от психологии ремесленника или ремесленного крестьянина, занимающегося отхожим промыслом, и приближается к психологии цыган. Если взять психологическую параллель из двадцатого века, то ремесленник скорее смотрит на дорогу, как на войну, в конце которой его ждут дом и «родные глаза». Находясь в дороге, он видит их, а не дорогу. Офеня и скоморох гораздо ближе к крестьянской психологии, хотя, как кажется, и не имеют никакого отношения к земледелию. Однако это кажется только на первый взгляд. Во-первых, они порождение или той эпохи, когда Русь была крестьянским миром, или же еще более древней, когда весь народ или какая-то его часть даже еще не была оседлой (здесь опять напрашивается параллель с цыганами), то есть материнской по отношению к психологии крестьянина.

Во-вторых, есть основания считать, что скomorохи, по крайней мере, на ранней стадии своего существования, были отнюдь не «примитивным театром средневековой Руси», а наследниками жреческой традиции культов плодородия. А это значит, что они должны были быть чем-то гораздо большим, чем просто носителями крестьянской идеологии.

Это предположение давало мне надежду, что они знали своего рода жреческую механику управления психикой тех, для кого они справляли обряды, то есть владели системой работы с сознанием, подобной имеющимся у всех древних религиозных и мистических школ мира. И то, что мы о ней не знаем, означало для меня только то, что мы не можем ее рассмотреть: «мелкоскоп не настроен». Все восемь лет, что я провел в Тропе, я, по сути, занимался перестройкой своего видения, чтобы научиться различать древние знания в примелькавшемся до обезличенности. В чем-то установка на поиск «настоящей жреческой школы» мне помогла, а в чем-то сыграла злые шутки, заставляя искать что-то заранее заданное и проходить мимо по-настоящему ценного. Так, в частности, было с пением.

Крестьянская психология подходит к земле и пашне не как к месту боя, которое надо преодолеть, а как к месту жизни, где текут пот и кровь, но где и праздники празднуются и творятся обряды. Тут опять напрашивается сопоставление с официозной психологией двадцатого века с ее искусственным переводом явлений жизни на язык войны, как это, например, происходило с выработкой восприятия жатвы как всенародной битвы за урожай, в то время как старая русская литература, начиная со «Слова о полку Игореве», пытается даже о войне рассказать языком крестьянского труда, тем самым переводя ее восприятие в форму, не нарушающую общего народного мировоззрения. Современная общественная психология весьма определенно противопоставляет себя Земле — вспомнить хоть печально известное Мичуринское: «Нам нечего ждать милостей от природы!» Ну и народный ответ на его слова: «Нам нечего ждать милостей от природы, после того, что мы с ней сделали!» Народное мировоззрение считает: надо поддержать жизнь Земли обрядами, главным из которых является сам труд земледельца. Пусть всегда будет жизнь!

Таков же подход скомороха и офени к дороге. Поэтому дорога состоит для него не только из расстояний и опасностей, но и из труда и радости. И он, отдаваясь труду до седьмого пота, как крестьянин, как крестьянин же пользуется любой возможностью праздновать, то есть радоваться праздности, с наслаждением используя любой повод для веселья и гульбы. Даже при христианстве с его непримиримой борьбой с радостями жизни мы обнаруживаем чуть не полторы сотни праздников в году. В дохристианском же мировоззрении любая естественная возможность завершить труд означала переход в праздность и гулянье. Все виды труда были посвящены определенным Богам и воспринимались как обряды. Поскольку и дни года, и дни недели тоже посвящались Богам, то и каждый вид труда рекомендовалось начинать не просто с их благословения, как это стало при христианстве, а посвящая соответствующему Богу, то есть в его день и с обрядом или как обряд. Шестой день недели, именуемый теперь субботой, назывался шесток или агнец и был, если верить Тропе, днем огненных обрядов всех Богов (возможно, это как-то отразилось в названии: шесток — это место перед топкой в печи, но иногда так называют и очаг). В седьмой же день, когда ты в праве был ожидать божественного одобрения своего служения, Боги приходили в гости к людям. Именно тогда слово Гост, очевидно означавшее Богов-посланников типа Радогоста, Гермеса, Меркурия, Семаргла, постепенно превратилось в знакомое нам слово гость, правда, сохраняя за собой ореол божественности, который мы прослеживаем в воспоминаниях о знаменитом русском гостеприимстве.

Приход Бога в гости означал радость и праздник, то есть гуляние и внутреннюю тишину, недеяние в действии, чтобы не просмотреть, не прослушать Бога. Недеяние в действии по-русски называлось Действо, и мы обнаруживаем его ярче всего в христианской храмовой традиции (напр., Пещное действо) и у скоморохов, где весь образ жизни есть действо, спектакль. Но что такое действо? Сейчас под спектаклем понимается жизнь понарошку. Но для человека той эпохи это не так. Достаточно посмотреть, как воспринимают спектакль дети. Нет, эта жизнь на сцене или на экране для них совершенно всерьез. Но что-то же в действе понарошку?! Труд понарошку! В праздник нельзя трудиться, поэтому и назывался на Руси завершающий день

седмицы — Неделя. День недеяния. Поэтому и Понедельник — «трудный день». Не плохой, как это стало восприниматься сейчас, а день труда. А скоморох — единственный, кто в поте лица трудится во время Священной Недели и не наказуется за это Богами — творит действие. То есть обряд, во время которого Боги и дают оценку нашему труду и служению. На самом деле скоморох не совершает этим трудом святотатства, потому что, как всякий лицедей, он исчезает за своей маской и для зрителя и для самого себя. А это значит, что на сцене присутствует вместо него другой, и какова бы ни была конкретная личина — а лицедей будет менять их по ходу спектакля неоднократно, как оборотень, — этот другой не просто персонаж и даже не человек. Главным оборотнем в этом мире является тот, кто может принимать все образы и даже более того, кто их творит, то есть Бог. Он-то и разговаривает с народом во время скоморошьего действия, только умей его услышать сквозь шум персонажа. В древнюю эпоху люди умели слышать и видеть сквозь пленку обличий и обыденности. Знаком этого является такое широкое и повсеместное распространение искусства гадания — коби, кобенья, по-русски. Для того, чтобы прозреть линии Судьбы или речь Бога в трещинках на обожженной бараньей лопатке или в полете птиц, надо было обладать очень высокой созерцательностью и внутреннею тишиной. Для этого и требовалась способность переходить в праздность непосредственно из труда, находить радость, как признак присутствия Бога, во всем, что тебя окружает, но еще важнее, уметь впадать в Божественное недеяние, чтобы не просто слышать Богов, а и быть домом, принявшим Гостя.

Всем знакомо уподобление дома человеческому телу в народной культуре. Но существовало и обратное уподобление: тело наше есть дом Души, дом Духа Божиего. Это тоже знакомо. Вот только воспринимается как метафора, литературный оборот. В древности же, как и у детей, это понималось буквально. И Боги приходили к нам в гости и в наши Дома и в наши Тела. Если Бог приходил в твой дом — дом становился Храмом, отсюда и русское название дома — Хоромы. Если же он входил в твое тело, ты сам становился на это время Богом. В Тропе отношение к Телу было божественным, и возможно, существует какая-то этимологическая связь между древними индоевропейскими словами Тело и Тео — Бог. Только умеющий приглашать или

впускать Богов в храм своего тела мог считаться жрецом в глазах народа. Сходное отношение мы можем обнаружить в шаманизме и в любом экстатическом культе. Способы перевода себя в измененное состояние сознания, когда сознание твое освобождается от личностного наполнения и оказывается в состоянии какое-то время воспринимать мир в чистом виде — впустить в себя Бога — были разными в каждом культе. Но обязательно были, иначе народ не чувствовал бы себя в том мире защищенным и не смог бы существовать. Судя по величию Русского народа, его жрецы владели этим искусством в совершенстве. Их прямыми наследниками были творцы действ скоморохи и, в какой-то мере, офени.

Настоящий офеня не просто увлекает своими песнями, потешками и прибаутками покупателей, но и творит им праздник, устраивает гулянье. Знаменитая песня про ухаря-купца, заехавшего в деревню коней попить, рассказывает о том, как он задумал гульбою народ подивить. По сути, песня полностью накладывается на сюжет Некрасовских «Коробейников» и отражает в сознании один и тот же образ — человека, творящего народу праздник. Наградой ему отнюдь не деньги — девичья любовь, людское веселье, да булатный нож... Далеко не все офени умирали дома. Домовиной им часто становилась придорожная канава. Такой финал признавался возможным всеми офенями и всеми скоморохами. Его ждали, к нему готовились, с мыслью о нем жили. Это была одна из психологических установок жизни дорожного человека, что означает, что они специально готовились к уходу в Мир иной через ворота того Храма, который раскинул свой свод над алтарем дороги. И это не имеет отношения к оценке такого социального явления, как разбой, но если ты всю жизнь знаешь, что уйдешь из нее под ножом татя с большой дороги, и хочешь уйти светло, то ты вынужден воспринимать его жрецом. Жрецом Смерти. Какая-то часть мистического почтения к Смерти произвольно переносится на ее жреца, закладывающего тебя в жертву. Ты можешь сражаться за свою жизнь, но когда Душа твоя отлетает, ты обязан, если ты действительно жрец плодородия, благословить Мир и открывший его двери нож. Психологический механизм, позволявший уйти так, можно назвать Искусством светлой смерти. Он подобен тому, как умирали русские старики, которые, за день перед смертью, сходявши в баньку, надев чистую рубаху и улегшись

под образами, требовали: «Зовите родных прощаться — завтра уходить буду!..» Насколько я смог понять, умение умирать светло было одним из вершинных искусств жреческой науки, сохраненной скоморохами и офенями в Тропе.

Все время, пока я был у офеней, я все хотел найти то, на что настроился, и в результате просмотрел многое из того, что мне предлагали. Вот так произошло и с их пением. Поют себе старички и поют. А у меня с детства вместо слуха лишь страх петь. А когда эти проблемы снялись, было уже поздно. И вот теперь нам на новой Тропе приходится все восстанавливать по крохам. Мы сумели разыскать многие из их песен. Впрочем, в их репертуаре было не так уж много особенных песен. Они пели любые песни, которые пелись. Гораздо специфичнее была их манера исполнения. Она-то и есть главная тема этой статьи.

Свое пение мои старички называли Духовным. Я долго не обращал внимания на то, как они пели. Для меня это был своего рода фольклорный довесок к «настоящему», которое я хотел найти. Но однажды летом 1989 года в одной деревушке Ковровского района мне удалось собрать вместе сразу троих, причем одну бабушку, тетю Шуру, я приволок на удачно подвернувшейся машине аж из Савинского района. В какой-то момент они решили спеть на три голоса, «как раньше», но сначала как бы распевались. Благодаря этому я впервые имел возможность не только услышать их «духовное пение», но и увидеть саму систему входа в состояние такого пения. Они запели какую-то народную свадебную песню, которую я пока еще больше нигде не встречал. Я внутренне заскучал и приготовился переждать время, пока снова не представится возможность задавать вопросы об офенском прошлом. Начало сразу же не заладилось, наверное, потому, что они давно не пели вместе. На мой взгляд, им надо было просто поспеваться, но Поханя, как они звали хозяина, сказал тете Шуре: «Позволение, Егоровна, позволение...» Я ничего не понял, но она кивнула и приступила еще раз. Очевидно, у них опять что-то не задалось, потому что Поханя опять остановился и сказал своей жене: «Ну-ка, Кать, побеседуй с ней. Не в позволеньи идет...» Бабки тут же как-то перестроились, будто вырезали свой собственный мирок, замкнулись друг на друга и я услышал после нескольких незначительных фраз о самочувствии, как Тетя Шура

рассказывает о том, как к ней не так давно приезжали с радио и записывали на магнитофон ее пение. Сумели уговорить, хоть она и отказывалась. А она после них разнервничалась, потому что это, может быть, грех. Я не смог тогда понять, почему она считала то пение грехом, а это нет, но она рассказала, что чуть ли не дала себе слово вообще не петь больше.

— Так чуть ли или дала? — тут же спросила ее тетя Катя. Тетя Шура засмушалась, а потом призналась, что решила больше не петь совсем, как только Поханя с тетей Катей умрут. Все засмеялись. Ей было около 85 лет в это время, и я понял по их смеху, что хозяйева старше.

Мы попили чайку, и они потихоньку снова приступили к песне. Но в этот раз не заладилось у тети Кати. С ней, правда, беседовать не пришлось, потому что, как только Поханя взглянул на нее своим суровым взглядом, она тут же махнула рукой и объяснила: «Не помню, двор, что ли, оставила открытым?.. Люське зайти. Поди скоро пригонются. Сижу, саму свербит вместо пеня».

Очевидно, скоро должны были пригнать с выпаса деревенское стадо, и тетя Катя, не желая отвлекаться во время пения, открыла ворота двора и дверь хлева, чтобы ее единственная коза Люська могла зайти в стойло, да сама в суете и забыла, сделала ли это. «И чё, так и будешь свербиться?» — только и сказал ей на это дед. «Вот ведь дура какая стала!» — пожаловалась она тете Шуре и убежала проверять свои ворота.

После этого песня пошла лучше, но Поханя все-таки перебил ее еще раз, спросив вдруг старушек с хитрым прищуром: «Чего это вы, девки, важные, молодость, что ли, вспомнили?!» — и подмигнул им в мою сторону. Они засмеялись: «Ну как же! Получше выглядеть надо». «Смотрите у меня», — только и сказал он им и снова запел. К тому времени я уже неплохо был знаком с их системой очищения сознания, которую они называли Кресением, и, с удовольствием наблюдая ее в практике, подумал, что неподготовленный человек, даже профессионал-психолог, пожалуй, ничего бы не заметил, настолько это все бытовое, неброское...

Устранив все помехи, старички все-таки распелись, и маленькое чудо, за которым я приехал, все же произошло для меня. Впервые за шесть лет я **услышал**, как они поют. Их голоса

вдруг начали сливаться, причем, вначале слились каким-то странным образом голоса тети Кати и Похани, хотя я не могу объяснить, что значит для меня «слились». Но другого слова я найти не могу. Тети Шурин же голос, хоть и красивый, несколько дисгармонировал на фоне их совместного звучания. Потом вдруг что-то произошло, и он словно впрыгнул внутрь их совмещенного голоса и слился с ним. Какое-то время их совместное звучание осознавалось мною как слившиеся голоса, но произошел еще один переход, и общее звучание-голос словно отделилось от них и зазвучало само по себе, будто над столом, вокруг которого они сидели, появилось самостоятельно поуще пространство!..

У меня в теле началась мелкая дрожь, словно я трудился до изнеможения на голодный желудок, в глазах начало плыть. Изменились очертания избы, лица у стариков начали меняться, становились то очень молодыми, то жуткими, то просто другими. Я помню, что ко мне из кромешной тьмы пришли несколько раз очень важные для меня воспоминания, но это было почему-то страшно и больно, и я вдруг заметил, что боюсь глядеть на певцов. Я сумел выдержать это состояние только потому, что уже испытывал подобные раньше, при учебе у других стариков. Многие исследователи писали о том, что народная песня магична, но подразумевалось при этом, что она использовалась в магических обрядах. Это верно, но поверхностно. Народная песня — не только сопровождение обряда, она и воздействие. Она одно из магических орудий первобытного человека.

Песня закончилась. Они еще сидели какое-то время, молча улыбаясь, словно чего-то пережидая. И действительно, через некоторое время то ли мое состояние, то ли состояние пространства стало возвращаться к обычному: сначала вернулись на место обои на стенах, потом исчезли, точно растаяли у меня на глазах мои странные воспоминания, и я не смог их удержать... А Поханя сказал:

— Вот, совместились... — и велел подавать чаю.

— Ну вы дали! — не выдержал я.

Они засмеялись, и тетя Катя объяснила мне, накрывая на стол:

— Это еще не песня. Это совместное пение... храмовое! А мы

тебе просто споем, на голоса.

На вопрос, почему она это пение назвала храмовым, она ответила:

— В Храме так петь надо. Некоторые песни...

Я тут же попытался выяснить, в каком храме:

— В христианском? В церкви?

— Не знаю... — с недоумением ответила тетя Катя. — В каком же еще? Мы иногда в церкви так пели... Где ж еще?.. Иногда на гулянье...

А Поханя добавил, засмеявшись:

— Это они так баловали девками. Соберутся так-то компанией девок и пойдут на службу в церковь. Там как запоют, они и подхватят, да переведут на себя! Все и поплывет в храме, головы кружатся! Мы специально парнями, кто понимал, смотреть ходили... Никто не понимает, чего они делают, а они довольны. Идут, хахалются! Их люббили, просили петь...

— Нас все время просили, — подтвердила тетя Катя. — И батюшке нравилось. Мы как придем в церкву, он сам подзовет Лушку, чаще всех Лушку звал, помнишь, Шур?

— Совсем не помню, — ответила тетя Шура. — Разве Лушку? Полюшку, поди?

— Да Лушку, Лушку! И меня было подзывал, и прямо прикажет: чтобы пели сегодня! Мы и поем, нам чего — молодые девчонки! Храм иной раз пропадет...

— Как пропадет? — мне почему-то вспомнилась тьма, из которой приходили стершиеся воспоминания, и я в этот момент осознал, что не скажи тетя Катя слов про пропадающий храм, я бы и тьму эту никогда больше не вспомнил.

— Так... — странно ответила она. — Плывет, плывет все... стены исчезнут потом... как тьма наступит... Люди из глаз исчезать начинают, у батюшки лики пойдут... Некоторые падали, другие молятся про себя, ничего не видят... в молитве...

— Да, да! — подхватила вдруг тетя Шура. — Батюшка потом все про Страшный суд рассказывал!

— Вот ты оттого и петь боишься, — неожиданно сказал ей Поханя, а тетя Катя закончила:

— А нам всё смешно! Девчонки!.. — и без перехода начала новую песню.

Сначала они опять слились, «совместились», как это у них

называлось, и я ожидал, что все повторится. Но после того как появилось совместное звучание, их голоса начали проявляться внутри общего звучания и «порыскивать», выводя свои собственные мелодии. Общее звучание как бы обнимало отдельные голоса, они текли в нем, как сплетающиеся струи внутри общего потока. «Соплетаясь», голоса создавали удивительно сильный душевный настрой. Это была какая-то рекрутская песня. Меня захватило настолько, что к глазам подкатили слезы. Я крепился, сколько мог, а потом разрыдался. Я очень хотел сдержаться, мне было стыдно, но в результате рыдания стали по-детски безудержными. Старички не прервали пения, только тетя Шура села рядом со мной и гладила меня по голове... Я долго не мог вернуться в норму и, хоть и знал, что мне лучше всего было бы прийти, условно говоря, сеанс Кресения, и убрать причины моих слез, напрочь отказался от помощи. Уже значительно позже я понял, что это было связано с теми провалами тьмы, из которых приходили воспоминания во время первой песни, и эти старички действительно не смогли бы мне помочь. Тех же, кто смог бы, уже не было... С какого-то мгновения ученичество заканчивается, и ты все должен будешь делать сам и нести за себя полную ответственность!.. Никто из них даже не попытался настоять на своей помощи.

Вот так я впервые познакомился с древним русским Духовным пением, которое, если верить рассказам стариков, досталось офеням от скоморохов, а те, возможно, хранили его еще с того времени, когда по всей Руси Великой стояли другие Храмы!.. Около двух лет расспрашивал я потом о технических особенностях этого пения, не надеясь когда-нибудь запеть самому.

СТЕПАНЫЧ

Если рассказывать об офенском пении подробнее, то начать придется с того, что существуют способы управления собственным звучанием. Я не оговорился: не звучанием голоса, а звучанием себя. Для духовного пения ты должен уметь звучать практически любой частью своего тела.

Это — беззвучное звучание, если позволительно так выра-

зиться. Звучит все-таки голос, но звук идет и обычными путями и сквозь ту часть тела, которой ты поешь. Ты ощущаешь это дрожью в звучащем месте и одновременно изменением голоса и можешь передать эту дрожь в ту же часть тела поющим вместе с тобой. Но этим воздействие такого пения не исчерпывается. И ты сам, и окружающие погружаются в беззвучную часть потока, голосовая часть становится дополнительной. Поющие перестают отслеживать музыкальную правильность пения — со стороны явственно слышно, что мелодия нарушается, она словно плавает. Изнутри же это никак не заметно, разве только ты совсем не вошел в пение. В этом нарушении Меры есть какой-то высший смысл, воспринимаемый как победа Лада...

Способность человеческого тела быть своеобразным излучателем звука, очевидно, воспринималась скородухами как нечто сакральное, потому что звучание человеческого голоса, переданное через определенные части тела, обретает некое дополнительное измерение и воздействует на человеческое сознание особым образом. Мой дед в свое время записывал такие вещи. В одной из его тетрадей, например, говорится, что человеческое тело — это Мир, а его части соответствуют частям мира или правящим ими Богам. Связь эта, в представлении офеней, очевидно, была довольно сложной. Так Роду, если верить деду, соответствуют сразу и Родник, и Зарод (часть тела, связанная с деторождением). Макоши соответствует в его записях Макушка и сердце, но уже под именем Середы, Середки. Связаны с богами живот, глаза, горло, ядро (солнечное сплетение), руки, ладони—долони, ключи (легкие), болонь, ноги, пяты и др. Эта своеобразная «народная мифология» никак не может быть подтверждена научно, как мне кажется, да и вряд ли нуждается в этом. Теоретически это очень вероятно — очень многие мифологии рассматривали Мир как тело первочеловека: Пуруши, Паньгу, Имира. Вероятно, такие представления существовали и у наших предков, но решать это науке. Но вот в определенной достоверности второй, так сказать, практической части его записей я имел возможность убедиться на собственном опыте. Эти записи связаны с понятием Ядер сознания. Но это требует рассказа о том, как офени понимали, что такое сознание.

Это мне объяснял мой первый мазыкский учитель, Степаныч. Его понимание сознания принципиально отличается от понимания психологов, которые считают сознание «непрерывно

Содержание

| | |
|-----------------------|---|
| От издательства | 3 |
| Мир Тропы | 5 |

ЭТНОГРАФИЯ 23

| | |
|----------------------------------|-----|
| Духовное пение старой Руси | 25 |
| Старики | 25 |
| Степаныч | 37 |
| Харлампыч | 43 |
| Поханя | 47 |
| Вабить | 51 |
| Баба Люба | 56 |
| Видение | 66 |
| Дядька | 72 |
| Очевидности | 78 |
| Строй или Спас Дюжий | 90 |
| Русская лестница | 109 |

ПСИХОЛОГИЯ 129

| | |
|---|-----|
| Этнопсихология | 131 |
| Язык | 134 |
| Предмет | 140 |
| Метод | 143 |
| Инферно | 145 |
| Дорога домой через Страну Востока | 161 |
| Наука мышления и образ мира | 200 |
| Храм Разума | 231 |

ИЗ ДРУГИХ ИЗДАНИЙ 239

| | |
|--------------------------------------|-----|
| А.Андреев. Баба-Яга | 241 |
| А.Андреев. Игра и Игрецы | 293 |
| А.Шевцов. Этнография | 310 |
| Введение. Мазыки | 310 |
| Глава 1. Степаныч. Мозоха | 315 |
| Глава 2. Степаныч. Искренность | 319 |

Содержание

| | |
|--|-----|
| Глава 3. Степаныч. Недооцененность..... | 329 |
| Глава 4. Степаныч. Толковин, или говорящие слюни..... | 332 |
| Глава 5. Дядька. Как начиналась для меня Наука думать..... | 339 |
| Глава 6. Дядька. Смерть Сократа..... | 342 |
| Глава 7. Поханя. Любки | 347 |
| А.Шевцов. На берегу этнографии | 354 |
| Мазыки..... | 354 |
| Глава 1. Сознание можно и ощутить и даже пощупать. Степаныч | 355 |
| Глава 2. Сознание — это среда. Накат | 357 |
| Глава 3. Наука думать. Дядька | 361 |
| Глава 4. Кресение и Космы. Степаныч | 366 |
| Заключение | 369 |
| Литература | 371 |